

TERRORYZM I ANTYTERRORYZM

Владимир ГУТОРОВ (Vladimir GUTOROV)

Санкт-Петербургский государственный университет

(Saint-Petersburg State University)

Александр ШИРИНЯНЦ (Alexander SHIRINYANTS)

Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова

(Lomonosov Moscow State University)

СОВРЕМЕННЫЙ ТЕРРОРИЗМ КАК ПОЛИТИЧЕСКИЙ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ФЕНОМЕН: АКТУАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ИНТЕРПРЕТАЦИИ

В декабре 2001 г., оценивая значение террористической атаки 11 сентября, Юрген Хабермас сравнил ее с двумя важнейшими вехами мировой истории – началом Первой мировой войны и Французской революцией: «С началом Первой мировой войны закончилось мирное, в известной степени беззаботное (как видно теперь) время. Начался век тотальных войн, тоталитарного угнетения, механизированного варварства и бюрократического массового убийства. Но только в ретроспективе мы сможем узнать, было ли символическое разрушение цитадели капитализма в южном Манхэттене глубокой цезурой, или эта катастрофа всего лишь подтвердила таким бесчеловечно-драматическим способом давно уже осознанную уязвимость нашей сложной цивилизации. И если здесь не идет речь напрямую о Французской революции, – а ведь Кант тотчас назвал ее „знаковым событием истории“, которое обнаружило „моральную тенденцию в развитии человеческого рода“, – если мы здесь касаемся события менее однозначного, то только реальная история вынесет свой приговор относительно иерархии исторических событий» (Хабермас, 2008: 10–11; ср.: Browning, 2011: 21–29).

Представление о том, что «террористическая ситуация» (Бодрийяр, 2016: 203) и состояние «глобальной войны» (Хардт, Негри, 2006: 13–54) являются наиболее характерными свойствами современного либерального миропорядка, что глобализация и терроризм – глубоко взаимосвязанные симптомы всеобщего политического и экономического кризиса, в который мир погрузился на рубеже XX–XXI вв., становится на данный момент чрезвычайно устойчивым в гуманитарных науках, философской и политической публицистике (см.: *Empire's New Clothes*, 2004: 320; Rogers, 2008: 153–160; Wagon, 2005: 61–64). Оно предельно точно и одновременно метафорично было сформулировано Жаном Бодрийяром (также в качестве комментария к событиям 11 сентября 2001 г.) в знаменитом эссе «Дух терроризма»: «Акт возмездия развивается по принципу такой же не-

предсказуемой спирали, как и террористический акт, никто не знает, на чем он остановится, где повернет вспять и что за этим последует. Как на уровне образов и информации нет возможности различения между spectacularным и символическим, так нет возможности различения между преступлением и возмездием. И в этом неконтролируемом развязывании реверсивности заключается настоящая победа терроризма. Победа ощущается в подспудном разветвлении и проникновении события по всей системе – не только в виде прямой экономической, политической, биржевой и финансовой рецессии, и как следствие – моральной и психологической рецессии, но также и в рецессии системы ценностей, всей либеральной идеологии, свободного движения капиталов, товаров, людей и т. д., рецессии всего того, что составляло гордость западного мира и чем он пользовался, чтобы оказывать влияние на весь остальной мир. Вплоть до того, что либеральная идея, еще новая и свежая, уже начинает умирать в сознании и нравах, и либеральная глобализация будет осуществляться в форме совершенно противоположной: в виде полицейской глобализации, тотального контроля и террора безопасности. Либерализация закончится максимальным принуждением и ограничением и приведет к созданию общества, которое будет максимально приближено к фундаменталистскому» (Бодрийяр, 2016: 117–118).

Главную причину взаимопроникновения терроризма и неолиберального фундаментализма современные философы обычно усматривают в формировании комплекса самопрограммирующей замкнутой циркуляции административной власти, в рамках которой сфера управления программирует саму себя, манипулируя поведением избирателей, предопределяя деятельность правительства и законодательных органов и инструментализируя обсуждение правовых проблем (Хабермас, 1992: 69; см. также: Baxter, 2011). Анализируя формирование нового комплекса власти на уровне идеологического дискурса, Жан-Франсуа Лиотар пришел к выводу, что он несет в себе террористическую угрозу, затрагивая в том числе и сферу науки и образования (Лиотар 1998: 134–135). Охарактеризованные выше моменты современного политического и научного дискурсов как никогда остро ставят проблему определения понятия «терроризм», равно как и вопрос об уровнях и критериях теоретического подхода к его интерпретации и специфике его исторических истоков.

ИНТЕРПРЕТАЦИИ ТЕРРОРИЗМА В СТРУКТУРЕ «ПОЛИТИКИ ПАМЯТИ»

Глобальный масштаб террористической угрозы постоянно стимулирует в научном мире споры, характер которых иногда напоминает состояние, весьма близкое к когнитивному диссонансу. Так, например, как бы в противовес концепции глобальной гражданской войны и террора, развиваемой в работах М. Хардта и А. Негри, психологи Дж. Кипер и Р. Сосис утверждают (со ссылкой на работы Дж. Мюллера и М. Стюарта), что, «несмотря на политическую риторику и длинную новостных передач... предполагаемая угроза может оказаться не настолько смертельной, как это кажется». По сравнению с другими угрозами, такими как

аварии или болезни, террористические атаки случаются не так уж часто и большинство из них не достигает цели. «Более того, в то время как терроризм каждый год причиняет ущерб в миллионы долларов, только США со времени событий 9/11 потратили на борьбу с терроризмом свыше одного триллиона долларов» (Kiper, Sosis, 2016: 116). Кипер и Сосис задаются вопросом, почему же люди так склонны переоценивать возможности террористов, и отвечают на него следующим образом: это происходит «вследствие активации модуля страха, который, как и человеческая реакция на пауков или змей, усиленно реагирует на крайние признаки смерти или насилия, независимо от реального уровня угрозы, порождаемой стимулами. В самом деле, реакции такого рода, несмотря на всю реальность терроризма, подчеркивают важность нахождения адаптивных способов преодоления террористических угроз» (*ibid.*; ср.: Benoit, 2007: 83).

На наш взгляд, совершенно очевидно, что подобные психологические интерпретации террора почти всегда имеют ограниченный характер и их «нейтральность» нередко выглядит несколько сомнительной (см. подробнее: Jackson, 2013: 278–280; Horgan, 2005: 40–60; Flannery, 2016: 1–2). Ведь мало кто сегодня сомневается в том, что террористические акты, ущерб от которых был оценен Кипером и Сосисом в несколько миллионов долларов, представляют собой лишь небольшой сегмент обозначенной Ж. Бодрийяром «террористической ситуации». Остается только надеяться, что ее анализ рано или поздно побудит этих ученых и их сторонников в порядке ретроспекции дать ответ на следующий вопрос: какие именно суммы из триллиона долларов, израсходованных США на борьбу с терроризмом, пошли на финансирование террористических групп и организаций, воевавших в Афганистане, Ливии, Ираке и Сирии?

Но учитывать психологические факторы, конечно, необходимо, прежде всего, потому, что они обладают мощным символическим воздействием, направленным, в зависимости от конкретных ситуаций и обстоятельств, как на стимулирование, так и на подавление исторической памяти и ее вытеснения на периферию современной политики.

Обращение к проблеме исторической интерпретации может рассматриваться как один из наиболее существенных моментов современной «политики памяти», которая, как справедливо отмечал Ч. Тилли, одновременно относится «а) к процессу, посредством которого аккумулируемый, становящийся общим достоянием исторический опыт оказывает сдерживающее воздействие на современное политическое действие; б) к борьбе и принуждению, которые возникают в рамках непосредственной интерпретации этого исторического опыта» (Tilly, 1994: 247; ср.: Wardlaw, 1989: XI; *Memory and Memorials*, 2000). Приведем лишь один из сравнительно недавних, весьма характерных примеров апелляции террористов к истории. Норвежский террорист Андерс Беринг Брейвик, убивший на маленьком острове Утёйа 69 и ранивший 151 ни в чем не повинных людей, утверждал в своем «манифесте», который он разослал 22 июля 2011 г. своим потенциальным единомышленникам (свыше 1000) менее чем за два часа до организованного им же взрыва бомбы в центре Осло: «Большинство людей сегодня будут обвинять нас как террористов. Однако сто лет назад нас бы чествовали как пионеров, как героев, которые отдали свои жизни в борьбе с тираном-угнетате-

лем» (Archer, 2013: 170). Комментируя данное откровение Брейвика, Т. Арчер, в частности, отмечает: «Ожидая смерть, он хотел быть уверенным в том, чтобы его политическая мотивация для осуществления столь гнусного преступления была понята... Конечно, существуют серьезные вопросы к психологам, психиатрам и другим исследователям ментального состояния. Их можно спросить о том, страдал ли Андерс Беринг Брейвик во время нападения какой-либо формой умственного расстройства. И действительно, первоначальное заключение экспертов, назначенных судом, сводилось именно к данному предположению. Но это не тот вопрос, который часто задается в отношении палестинского или иракского самоубийцы-бомбиста, террористов-джихадистов по всему миру или этно-националистических радикалов – будь то баски, корсиканцы или тамилы. В этих случаях большинство на Западе склонны удерживать себя в своих оправдательных доводах, объяснениях, идеологических или теологических изысканиях на уровне номинальной стоимости, даже если все названные выше лица вызывают у нас моральное отвращение. Мы просто не называем их сумасшедшими и не гадаем дальше. Именно таким же образом надо поступать и с Брейвиком» (Archer, 2013: 170; ср.: Ganog, 2014: 3–4). В соответствии с подобной логикой, все индивиды и группы, политические организации и государства, прибегающие к террору как к средству борьбы – боевики ИГИЛ, сапатисты, французские военные власти в Алжире, американцы во Вьетнаме, британцы в Индии эпохи восстания сипаев, полпотовцы, российские эсеры-бомбисты, якобинцы, большевики, нацисты и многие др. должны рассматриваться в соответствии с некими общими нейтральными (правовыми) критериями, находящимися за пределами идеологических и даже этических предпочтений.

Разумеется, такой подход вполне оправдан. Но одновременно следует признать: нельзя впадать и в другую крайность, связанную с недооценкой или отрицанием значения идейных факторов, порождающих террористическую деятельность (см.: Hagton, 2008: 2). Такой подход предельно обедняет реальность, бросая при этом ложную тень на историческую традицию, которая свидетельствует о том, что идеи сами по себе всегда играли чрезвычайно важную роль в формировании «идеологии террора» и соответствующих институтов, практиковавших террор и насилие, особенно в периоды революционных трансформаций. Это подтверждает опыт большинства стран мира. Основываясь на этом опыте, можно, например, вполне определенно утверждать, что «феномен Брейвика» ясно указывает на периодическое возобновление традиции индивидуального террора в Западной Европе, который в XIX веке был значимым фактором формирования радикальных политических движений.

Террористические акты, совершенные Брейвиком, вполне вписываются в одно из общепринятых определений терроризма – «намеренное использование насилия или угрозы насилия для достижения целей – политических, религиозных или идеологических – путем насаждения страха, использования запугивания или принуждения. Терроризм предполагает преступный акт, часто символический по природе, с целью воздействия на аудиторию помимо непосредственных жертв» (Nance, 2008: 42). В современной научной и философской литературе существуют сотни дефиниций терроризма, которые нередко противоречат друг

другу. А. Шмид, изучивший около 250 определений, установил, что ни одно из них не может считаться всеобъемлющим, выделив представленные в них наиболее общие элементы – насилие или его угроза, политическая мотивация и целенаправленное стремление к реализации политических и религиозных проектов, установка на страх и запугивание, особенно в тех случаях, когда имеется в виду аудитория, своим размером превышающая число непосредственных жертв (см.: *The Routledge Handbook*, 2011: 39; Herbst, 2003: 164; Silke, 2004: 1–4; Anderson, Sloan, 2009).

В настоящее время терроризм выступает во множестве форм и обликов (см.: Taylor, 2002: 8–11; Gupta, 2008: 2–10). Данное обстоятельство означает, что далеко не всегда представляется возможным связать те или иные акты насилия и сопровождающие их политические декларации с какой-либо конкретной исторической традицией. Поэтому большинство современных аналитиков, как правило, ограничивается определениями, имеющими общий характер, редко пускаясь в исторические изыскания дальше XIX – начала XX вв., т.е. периода возникновения так называемого «современного терроризма», родиной которого попеременно называют то царскую Россию 1860–1870-х гг. (почему-то приводя в пример убийство в 1878 г. революционером Сергеем Кравчинским генерала Николая Мезенцева, шефа политической полиции Александра II, хотя задолго до этого, в 1866 и 1867 гг., были осуществлены первые террористические покушения на жизнь самого российского императора), то США в период «Реконструкции» (имея в виду деятельность организации «Ку Клукс Клан» в южных штатах после гражданской войны) (см.: *The Routledge History*, 2015: 1). При этом, конечно, ни для кого не является тайной, что сама по себе этимология данного понятия (от лат. *terrere* – *устраивать, пугать, преследовать страхом*) предполагает его проекцию в глубокую историческую древность – к первой империи, основанной в Месопотамии Саргоном Аккадским (2316–2261 гг. до н. э.), к ассирийской империи, столетиями державшей в страхе народы Передней Азии или, по крайней мере, к империям Чингиз-хана и Тамерлана (см.: *The History of Terrorism*, 2007: VII–VIII; Miller, 2013: 10–45; *Brill's Companion*, 2015).

«В начале XX века, – отмечают М. Хардт и А. Негри, – термин “терроризм” относился в основном к взрывам, которые устраивали анархисты в России, Франции и Испании – это были примеры так называемой пропаганды действием. Нынешний смысл данного термина изобретен недавно. Терроризм стал политической концепцией (концепцией войны или, фактически, гражданской войны), которая имеет касательство к трем разным явлениям, иногда рассматриваемым по отдельности, а в других случаях смешанным вместе:

- 1) мятежу или восстанию против законного правительства;
- 2) применению правительством политического насилия в нарушение прав человека (в том числе, как некоторые считают, и прав собственности); и
- 3) практике ведения войны в нарушение соответствующих правил, включая нападение на гражданское население» (Хардт, Негри, 2006: 30).

Такое определение, равно как и приведенные выше комментарии к «делу Брейвика», наглядно свидетельствуют о том, что научный анализ феномена терроризма во многом способствует разрушению в общественном сознании

некоторых историософских концепций, которые в последние десятилетия превратились в устойчивые политические мифы. Одной из наиболее известных является теория «столкновения цивилизаций». В одном из своих интервью, данном в сентябре 2001 г., Наум Хомский отмечал, что, несмотря на разыгрывающуюся перед всем миром политическую драму, говорить об этой, «ставшей модной», концепции мало смысла, поскольку она по-прежнему противоречит очевидным историческим фактам, например, поддержке со стороны США резни, устроенной в Индонезии армией ген. Сухарто после его прихода к власти в 1965 г., подготовке в 1980-е гг. «наиболее радикальных исламских фундаменталистов» в целях нанесения максимального ущерба советским войскам в Афганистане, в результате которой в этой стране был создан «режим фанатиков из групп, безудержно финансируемых американцами», значительной поддержке в эти же годы Саддама Хусейна и масштабной войне в Центральной Америке, где «основной... мишенью для США стала католическая церковь» и, наконец, «циничным властным стратегиям», в ходе реализации которых боснийские мусульмане стали «балканскими клиентами» американцев. «Если ограничиться приведенными примерами, – продолжал Хомский, – где обнаружим мы раздел между цивилизациями? Должны ли мы прийти к заключению о существовании столкновения между цивилизациями в лице латиноамериканской католической церкви, по одну сторону, и США с мусульманским миром, включая его наиболее преступные и фанатические религиозные элементы, по другую? Я, конечно же, не предлагаю столь абсурдного вывода. Но каким здесь вообще может быть вывод на рациональных основаниях?» (Хомский, 2001: 93–94; ср.: Guelke, 2006: 23–46).

Весьма характерно, что А. Этциони, философские принципы которого радикально отличаются от принципов Н. Хомского, вполне разделял позицию последнего по данной политической проблеме, отказавшись подписать составленное группой американских интеллектуалов письмо в поддержку вторжения США в Ирак в 2003 г., которое оказалось первой фазой в затяжной иракской войне, продолжающейся до сих пор. Согласно его мнению, вторжение в Ирак не отвечало двум главным постулатам теории «справедливой войны» – отсутствовала непосредственная угроза жизни людей в этой стране и не были исчерпаны все варианты отражения угроз, исходивших от режима Саддама Хусейна. США намеренно обманывали общественное мнение относительно наличия у Саддама Хусейна оружия массового поражения (ОМП) и их попытка связать Ирак с «Аль-Каидой» очень напоминала провокационные действия в Тонкинском заливе в августе 1964 г., ставшие прологом к войне во Вьетнаме. Итог американского вторжения в Ирак оказался полностью противоположным изначально декларируемым целям, а именно – возникла новая «террористическая ситуация», искусственно сформированная в этой стране (см.: Этциони, 2004: 137–138; ср.: Finlay, 2015; Gantt, 2010).

Понимание того, что религия и конфессиональные противоречия не являются тем критическим пунктом, который должен превалировать в дискуссиях относительно определения характера современного терроризма, постепенно становится для ученых все более очевидным. «Сам факт, что многие из тех, кто несет ответственность за распространяющиеся повсюду в последние десятилетия волны

терроризма, действовали во имя религии, – отмечают А. Педахзур и А. Перлигер, – породил академический спор, фокусирующийся на прямой ответственности религий в целом и ислама – в частности за увековечивание политического насилия. Изначальный подход, который недавно стал также называться культурным подходом, представлен в работах, утверждающих, что сами различия между религиями, а также нетолерантная и весьма специфическая природа религиозных структур привели их на путь насильственного конфликта. Теологические исследования, которые принимали данный подход и исследовали различные виды оправдания насилия в Ветхом и Новом Заветах, в Коране и других религиозных текстах, столкнулись с широкомасштабным критицизмом. В результате возник альтернативный подход, основывавшийся на той предпосылке, что реальные истоки терроризма следует искать в борьбе за ресурсы, территорию и политическое влияние и что религия не может считаться наиболее явной причиной терроризма. В соответствии с этим подходом, терроризм инициируется иерархическими организациями, руководители которых, осуществляя тщательный анализ затрат и выгод, используют насилие лишь постольку, поскольку оно помогает им достигать целей в их борьбе» (Pedahzur, Perliger, 2009: IX; ср.: Ryan, 2013: 18 sq.; Cooper, 2004: 2–5; 158–165).

Одной из причин ложных толкований проблемы источников террористических угроз является часто притворное и конъюнктурное «принятие на веру» отдающих рекламой деклараций наиболее активных террористических групп, хотя, например, вполне понятно, что, «несмотря на то, что ИГИЛ пытается представить себя как организацию, основывающуюся на идеологии радикального исламизма, алогичные действия организации и чрезмерная жестокость свидетельствуют о том, что это – не столько религиозная, сколько зонтичная организация, служащая геополитико-политическим целям... В целом, какая бы сила не стояла за ИГИЛ, очевидно то, что все совершенное этой организацией до сих пор нанесло серьезный удар по исламской религии и мусульманам, легитимизировав в глазах мирового сообщества возможные вмешательства Запада в регион» (Ормеджи, 2014; ср.: Rabasa, 2006: 7–10).

Другая серьезная причина аберраций такого рода состоит в спонтанном, иногда не вполне осознаваемом стремлении проецировать вовне вполне реальные внутренние террористические угрозы. Как отмечал недавно Стюарт Векслер в книге «Тайный джихад Америки. Сокрытая история религиозного терроризма в США»: «Америка ведет войну против религиозного терроризма, но с далеко не полным знанием и пониманием своей собственной истории внутреннего религиозного терроризма. Но терроризм имеет много форм и с трудом поддается определению даже в кругу ученых» (Wexler, 2015: V; ср.: Churchill, 2007).

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕРРОРИЗМ И ПРОБЛЕМА ТИПОЛОГИИ

Многие современные интерпретации терроризма, при всей их кажущейся внешней объективности или, наоборот, парадоксальности, на самом деле постоянно воспроизводят привитую со школьной скамьи типологическую схему, опираю-

щуюся на историческую логику, которая основана на чисто внешнем восприятии терроризма как подрывных акций индивидов и небольших групп, руководствующихся самыми различными политическими мотивами. Подобный абстрактный схематизм постоянно используется средствами массовой информации, закрепляющими в политической памяти искаженные, нередко карикатурные образы террористов и тем самым ложное восприятие как истинных целей, которые они преследуют, так и тех реальных корпоративных структур, которые финансируют и направляют их деятельность. Например, для многих американцев, не знакомых с собственной историей, терроризм вообще является «новинкой». «Некоторые люди, – отмечает американский политолог М. У. Нанс, – воспринимают террористов как некомпетентных трусов, которые не могут нам противостоять. В представлении других они – яркие, но суицидальные люди-пугала, которых нельзя остановить. До 11 сентября в умах многих людей преобладающий образ террориста – картонный паяц, несущий большую бомбу с зажженным фитилем» (Nance, 2008: 6).

Невозможно отрицать, что в основе такого восприятия лежит некая, граничащая с трафаретностью, «метафизическая безликость» индивидуального террора как культурного феномена. «Мы все теперь знакомы, – отмечает Ф. Г. Мохамед, – с банальным афоризмом – “за одной личиной террориста скрывается другая – борца за свободу”, который мало что дает для понимания терроризма и приводит к невообразимому релятивизму... Однако затертый афоризм высвечивает в этой двойной принадлежности терроризма один важный момент: жизнь террориста уже всегда вписана и инкорпорирована в существующую демонологию и агиологию. В особенности это верно в отношении атакующего самоубийцы, чье финальное действие является не столько самовыражением, сколько радикальным само-затушевыванием (self-effacement), поверх которого накладывается очередной слой нарратива... Было бы неверным рассматривать бомбистов-самоубийц как индивидов, чьи действия выдают бесчеловечную субъективность, но, скорее, рассматривать такой взгляд по большей части как культурно опосредованное допущение, подтверждаемое всей мощью взаимодействий, которые являются типичными для культурно опосредованных утверждений» (Mohamed, 2011: 108; ср.: Jameson, 2008: 509; Ruiz, 2011: 5).

Террористическая активность якобинцев, носящая отпечаток «метафизических порывов французского универсализма» (Т. Нэрн), русских террористов-народников или современных исламских джихадистов отмечена чертами сектантской узости и непримиримости, характерной для средневековых еретических движений и радикальных религиозных направлений мысли и практики эпохи модерна, в которых индивидуальное начало высвечивается, как правило, в их духовных лидерах и не распространяется на основную массу рядовых адептов (см.: Mohamed, 2011: 35; ср.: Fridlund, 2012: 71–92). Но данное обстоятельство не снижает эффективности террористических атак в плане их деструктивного воздействия на историческую память. Напротив, она многократно усиливается, когда акты насилия анонимных террористов направлены против индивидов, играющих ключевую роль в политике и олицетворяющих основы государственности. Так, похищение и убийство террористами из «красных бригад» премьер-минис-

тра Италии Альдо Моро весной 1978 г. «оказалось одним из наиболее травматических воспоминаний новейшей итальянской истории» (Poggiolini, 2004: 235). Убийство императора Александра II, совершенное народовольцами 1 марта 1881 г., фактически стало отправным пунктом, начиная с которого волны террора захлестывали Россию на протяжении более чем полувекового периода, в том числе и потому, что в 1920–1930-е гг. советские правители, соединяя и закрепляя в исторической памяти отечественную и якобинскую традиции, превратили революционный террор в объект культа и сделали его одной из главных основ государственной пропаганды и системы политического образования. Это проявлялось не только в сооружении в Москве сразу после Октябрьской революции скороспелых памятников вождям якобинцев или же в том, что ряд улиц в центре Санкт-Петербурга, бывшей имперской столицы, переименованной в Ленинград, были названы именами убийц Александра II, но и, в частности, в целенаправленной издательской политике: публиковались и переводились преимущественно книги по истории Французской революции, авторы которых явно сочувствовали якобинским идеям (см., например: Линдов, 1920; Жорес, 1923; Матъез, 1928).

В конечном итоге современная аналитика интерпретации феномена терроризма с необходимостью подводит нас к идее создания теоретического континуума, в рамках которого разнообразные определения поддаются структурированию, в том числе, и в иерархическом плане. На одном полюсе континуума находится государственный терроризм, на другом – терроризм индивидуальный. Между этими полюсами расположены разнообразные варианты группового терроризма, векторно направленные к одному из полюсов – от атомарных, разрозненных групп террористов-единомышленников до организаций, создаваемых государствами и крупными корпорациями для реализации конкретных политических планов стратегического и тактического характера.

Главный результат такого рода виртуального эксперимента, на наш взгляд, может быть представлен в виде следующего вывода: вопреки устойчивым либеральным стереотипам, государственный терроризм следует рассматривать в теоретическом плане в качестве универсальной основы или «матрицы», в то время как все другие формы индивидуального и группового терроризма, независимо от их социальной, классовой или идеологической ориентации, являются производными от данной основы. Об этом свидетельствуют и многие, вполне нейтральные определения этого феномена, представленные в современной научной литературе: «“Вовлеченность” государства в терроризм может проявляться в различных формах и в различной степени. Она может включать общее содействие террористической организации, финансовую поддержку, оперативную помощь или любые их комбинации. Или же она может быть просто легализована путем предоставления такой организации возможности размещения на государственной территории. Она может включать в себя инициирование террористических атак и даже их осуществление официальными государственными агентствами» (Ganor, 2015: 66; ср.: Combs, Slann, 2007: 314).

В книге «Государственный терроризм и неолиберализм» британский политолог Рут Блейкли в специальной главе, посвященной проблеме концептуализации этого феномена, последовательно опровергает мнение тех ученых, которые счи-

тают в принципе недопустимой квалификацию любых государственных актов насилия как террористических. «Государственный терроризм, – отмечает она, – это одно из принудительных орудий, которому регулярно отводится важнейшее место во внешнеполитической деятельности либеральных демократических государств Севера. Государственный терроризм необходимо воспринимать как угрозу насилием или насильственным актом, осуществляемый представителем государства и направленный на то, чтобы внушить целевой аудитории предельный страх таким образом, что люди вынуждены, так или иначе, думать об изменении своего поведения» (Blakeley, 2009: 1). Государства не могут исключаться из числа потенциальных преступников-террористов, поскольку ключевая характеристика терроризма относится к действиям, квалифицируемым в качестве террористических, а не к *природе акторов*, совершающих эти действия. Главной разделительной чертой, отделяющей терроризм на государственном уровне от других форм насилия и репрессий, связанных с этим уровнем, является его «инструментальность», поскольку он «связан с незаконным преследованием людей, защищать которых государству вменяется в долг». Цель подобного преследования – «внушить страх в целевую аудиторию помимо его непосредственной жертвы». Тем самым «государственный терроризм всегда нарушает международное право вследствие тех методов, которые используются для того, чтобы вселить страх» (Blakeley, 2009: 26; ср.: Crenzel, 2011: 1–14; Combs, Slann, 2007: 307–311, 317–318). В отличие от обезличенности и анонимности современного индивидуального террора, государства – древние и новые – использующие его как средство достижения политических целей, естественно, никогда не могли претендовать на анонимность, а деятельность государственных элит и отдельных правителей в этом плане всегда носила, так сказать, публичный характер. В XX в. международное сообщество, следуя традиции, основание которой было положено пактом Бриана-Келлога, стало устанавливать «террористический профиль» государственной политики в судебном порядке. «Следует помнить – тем более, что информация об этом повсеместно замалчивается, – отмечает Н. Хомский, – что США являются единственной страной, осужденной Международным судом за ведение международной террористической деятельности и отвергнувшей вынесенную Советом Безопасности резолюцию, призывающую все страны мира соблюдать нормы международного права» (Хомский, 2001: 49; ср.: Schmidt, 2004: 1–18; Imre, Mooney, Clarke, 2008: 19–56; Herianto, 2006: 106–123).

В современном мире с его развитыми технологиями массового уничтожения иную иерархию терроризма, в принципе, трудно себе представить. Индивидуальный террор, как уже отмечалось выше, всегда архаичен: между Гармодием и Аристокитоном, Брутом и Кассием, Андреем Желябовым и Джоном Уилксом Бутом, Шарлоттой Корде и Софьей Перовской, Павлом Горгуловым и Владо Черноземским типологически и фактически нет особых различий, поскольку используемые ими методы убийства и идейные мотивации отдавали ретроградностью в той или иной степени и не соответствовали общему вектору социального развития. Более эффективным этот вид террора становится только к началу XX века, когда интересы организованных групп террористов постепенно стали совпадать с интересами корпоративных экономических структур

и государственных спецслужб, стремившихся использовать их в собственных интересах. «Дело Азефа» в этом плане является более чем характерным (см.: Гейфман, 1997: 322–329). Аналогичным образом такие организации как табулы и ИГИЛ – символы средневекового мракобесия – оказались на «уровне прогресса» и смогли действовать самостоятельно в широких масштабах только после того как получили всестороннюю экономическую и техническую поддержку со стороны западных государств и их спецслужб. Без такой поддержки они вряд ли могли бы чем-либо отличаться, например, от ирокезов и абенаков, нанимавшихся англичанами и французами во время Семилетней войны.

Следует также отметить, что даже в терминологическом плане терроризм первоначально ассоциировался именно с государственным насилием. Американский историк Рэнделл Ло, в частности, отмечал, что «в английском языке термин “террорист” был впервые использован для описания государственного террора, когда в 1795 г. Эдмунд Берк поносил французских революционеров образца 1793–1794 гг. как “этих дьяволов (hell-hounds), прозванных террористами”. Он заимствовал термин “террор” у самих якобинцев, которые его использовали (временами позитивно) для описания насилия, применяемого не только против реальных врагов, которые плели интриги против революции, но также против тех, которые, учитывая их происхождение и мировоззрение, могли только замышлять их. Вскоре после того, как якобинцы были лишены власти, один из организаторов их краха Жан-Ламбер Тальен произнес речь, в которой он искусно выделил ключевой момент государственного терроризма. В отличие от законного правительства, которое “может ограничиться постоянным наблюдением над неподобающими действиями, угрожая и наказывая соответствующим образом тех, кто их совершает, ... если правительство террора преследует немногих граждан за их предполагаемые намерения, оно сможет запугать всех граждан”» (Law, 2009: 1–2). Эта идея была доведена до «логического конца» большевиком Н.В. Крыленко, назначенным в мае 1918 г. председателем Революционного (Верховного) трибунала. «Мы должны, – заявлял он, – карать не только виновного. Казнь невиновного произведет еще большее воздействие на массы» (Geifman, 2010: 122). Риторика подобного рода вполне отчетливо показывает – каким именно способом традиция государственного терроризма, развиваясь на протяжении нескольких столетий от одной «революционной ситуации» к другой, к началу XXI в. на новом витке глобализации стала максимально сближаться с обновленной гобсовской версией «естественного состояния», в теоретическом плане очень точно и рельефно зафиксированной в антилиберальной концепции «чрезвычайного положения» (Ausnahmezustand) К. Шмитта (см. подробнее: Benoist, 2007: 73–96; Neal, 2010).

* * *

В 1999 г. И. Валлерстайн, занимавший в предшествующие четыре года пост президента Международной социологической ассоциации (ISA), выпустил в свет книгу с весьма характерным названием «Конец мира каким мы его знаем. Социальная наука для двадцать первого века», в которой, по собственному его

признанию, подводились итоги систематического осмысления сложной дилеммы, устанавливающей принципиальное различие между «миром капитализма... , обрамляющего нашу реальность» и «миром познания», формирующего понимание окружающей нас действительности (Wallerstein, 1999: IX). «Я полагаю, – отмечал он в предисловии к своей работе, – что мы заблудились где-то в середине пути, странствуя в темных лесах, и не обладаем достаточной ясностью в понимании того, куда именно нам следует направляться. Я думаю, что мы крайне нуждаемся в том, чтобы вместе обсудить данное обстоятельство, и в том, чтобы дискуссия имела всемирный масштаб. Далее, я верю, что данная дискуссия не относится к числу тех, в которых мы можем разводить знание, мораль и политику по разным углам» (*ibid.*).

На наш взгляд, эти суждения американского социолога в полной мере применимы и для ответов на охарактеризованные в статье многочисленные вопросы, которые постоянно возникают в рамках сложной дискуссии, связанной с анализом природы современного терроризма, а также с ясным пониманием его психологических корней и исторических истоков. Главный из этих вопросов, конечно, состоит в том – является ли логика терроризма и «террористического государства» железной константой и неизбежным следствием современных процессов глобализации и существуют ли другие исторические альтернативы? Но его суждение вряд ли возможно вне концептуализации самого понятия «терроризм», выделения четких, научно обоснованных критериев, отделяющих этот социальный феномен от других форм политического насилия.

Одна из особенностей дискуссий о современном терроризме определяется тем, что они с трудом укладываются в научные рамки: водораздел проходит между крайней апологетикой, приравнивающей террористов к «борцам за свободу», «революционерам» и т.п., и постмодернистскими попытками исключить саму проблему из научной повестки дня на том основании, что представления о терроризме постоянно противоречат друг другу и не способны преодолеть «порог субъективности» (см. подробнее: Wilkinson, 2011: 4–6; Mullins, Thurman, 2011: 40–65). Повсеместно возникающие дилеммы в трактовках террористической активности в различных регионах мира связаны с господством в современном политическом дискурсе практик насилия, несвободы и чрезвычайных ситуаций, постоянно подпитывающих риторику «войны с террором». Эти практики сами по себе накладывают ограничения на субъективную свободу суждений, способствуя формированию структур «дисциплинарной власти», основные механизмы которой были в свое время всесторонне исследованы в политической философии М. Фуко (см.: Foucault, 2001; Neal, 2010: 117–140).

Причины их распространения очевидны: терроризм подрывает безопасность и свободу, разрушает экономику, заставляя правительства многих стран перемещать ресурсы в военную и полицейскую сферы и сокращать инвестиции в образование, здравоохранение, жилищное строительство. В дискурсивном плане тенденции такого рода препятствуют пониманию и обсуждению «террористической ситуации» в ее специфических политических, психологических и исторических контекстах, стимулируя желание искоренить терроризм «раз и навсегда» с помощью силовых механизмов и ограничения гражданских свобод. При этом

нередко забывается очевидная истина: уничтожить терроризм возможно только путем радикального изменения той международной среды, в рамках которой он воспринимается как одно из «прагматических средств» реализации стратегических и сиюминутных экономических и политических целей. Одним из предварительных условий поворота в антитеррористической политике является всеобщее распространение убеждения о неприемлемости и нелегитимности террора в сознании граждан как отдельных стран, так и на глобальном уровне.

БИБЛИОГРАФИЯ

- Бодрийяр Ж. (2016), *Дух терроризма. Войны в заливе не было*, Москва.
- Гейфман А. (1997), *Революционный террор в России, 1894–1917*, Москва.
- Жорес Ж. (1923), *История Конвента. Из истории Великой французской революции. 2-е изд.*, Москва–Петроград.
- Линдов Г. (1920), *Великая Французская революция*, Государственное издательство, Петроград.
- Лиотар Ж.-Ф. (1998), *Состояние постмодерна*, Издательство «АЛТЕЙЯ», Москва.
- Матьез А. (1928), *Как побеждала Великая Французская революция*, Москва.
- Ормеджи О., *Что такое ИГИЛ и чего она хочет?*, <http://inosmi.ru/world/20140916/223020297.html> (6.01.2017).
- Хабермас Ю. (1992), *Демократия, разум, нравственность (Лекции и интервью. Москва, апрель 1989 г.)*, Москва.
- Хабермас Ю. (2008), *Расколотый Запад*, Весь мир, Москва.
- Хардт М., Негри А. (2006), *Множество: война и демократия в эпоху империи*, Культурная революция, Москва.
- Хомский Н. (2001), *9–11*, Издательство «Логос»; Фонд КИЦ «Панглосс», Москва.
- Этциони А. (2004), *От империи к сообществу: новый подход к международным отношениям*, Москва.
- Anderson S. K., Sloan S. (2009), *Historical Dictionary of Terrorism. Third Edition*, The Scarecrow Press, Inc., Lahnam, Maryland–Toronto–Plymouth, UK.
- Archer T. (2013), *Breivik' Mindset: The Counterjihad and the New Transatlantic Anti-Muslim Right*, in: *Extreme Right Wing Political Violence and Terrorism*, (eds.) M. Taylor, D. Holbrook, P. M. Currie, Bloomsbury, London–New Dehli.
- Baxter H. (2011), *Habermas. The Discourse Theory of Law and Democracy*, Stanford, California.
- Benoist A. de (2007), *Global Terrorism and the State of Permanent Exception. The Significance of Carl Schmitt's Thought Today*, in: *The International Political Thought of Carl Schmitt. Terror, Liberal War and the Crisis of Global Order*, (eds.) L. Odysseos, F. Petito, London–New York.
- Blakeley R. (2009), *State Terrorism and Neoliberalism. The North in the South*, London–New York.
- Brill's Companion to Insurgency and Terrorism in the Ancient Mediterranean* (2015), (eds.) T. Howe, L. L. Brice, Leiden–Boston.
- Browning G. (2011), *Global Theory from Kant to Hardt and Negri*, New York.
- Boron A. A. (2005), *Empire and Imperialism. A Critical Reading of Michael Hardt and Antonio Negri*, London–New York.
- Churchill W. (2007), *Pacifism as Pathology*, AK Press, Edinburgh–Oakland, West Virginia.

- Combs C. C., Slann M. (2007), *Encyclopedia of Terrorism. Revised Edition*, Facts on File, New York.
- Crenzel E. (2011), *Present Pasts: Memory(ies) of State Terrorism in the Southern Cone of Latin America*, in: *The Memory of State Terrorism in the Southern Cone: Argentina, Chile, and Uruguay*, (eds.) F. Lessa, V. Druliolle, New York.
- Cooper B. (2004), *New Political Religions, or An Analysis of Modern Terrorism*, Columbia–London.
- Empire's New Clothes. Reading Hardt and Negri (2004)*, (eds.) P. A. Passavant, J. Dean, New York–London.
- Finlay Chr. J. (2015), *Terrorism and the Right to Resist. A Theory of Just Revolutionary War*, Cambridge.
- Flannery F. L. (2016), *Understanding Apocalyptic Terrorism. Countering the Radical Mindset*, London–New York.
- Foucault M. (2001), *Madness and Civilization: A History of Insanity in the Age of Reason*, London.
- Fridlund M. (2012), *Affording Terrorism. Idealists and Materialities in the Emergence of Modern Terrorism*, in: *Terrorism and Affordance*, (eds.) M. Taylorand, P. M. Currie, London–New York.
- Ganor B. (2014), *Defining Terrorism. Is One Man's Terrorist Another Man's Freedom Fighter?*, in: *Examining Political Violence. Studies of Terrorism, Counterterrorism and Internal War*, (eds.) D. Lowe, A. Turk, D. K. Das, Boca Raton–London–New York.
- Ganor B. (2015), *Global Alert. The Rationality of Modern Islamist Terrorism and the Challenge to the Liberal Democratic World*, New York.
- Gantt J. (2010), *Irish Terrorism in the Atlantic Community, 1865–1922*, New York.
- Geifman A. (2010), *Death Orders. The Vanguard of Modern Terrorism in Revolutionary Russia*, Santa Barbara, California–Denver, Colorado–Oxford.
- Guelke A. (2006), *Terrorism and Global Disorder. Political Violence in the Contemporary World*, London–New York.
- Gupta D. K. (2008), *Understanding Terrorism and Political Violence. The Life Circle of Birth, Growth, Transformation, and Demise*, London–New York.
- Harmon Chr. C. (2008), *Terrorism Today. Second Edition*, London–New York.
- Herbst Ph. (2003), *Talking Terrorism: A Dictionary of the Loaded Language of Political Violence*, Westport, Connecticut–London.
- Herianto A. (2006), *State Terrorism and Political Identity in Indonesia. Fatally Belonging*, London–New York.
- Horgan J. (2005), *The Psychology of Terrorism*, London–New York.
- Imre R., Mooney T. B., Clarke B. (2008), *Responding to Terrorism. Political, Philosophical and Legal Perspectives*, Burlington.
- Jackson R. (2013), *The Politics of Terrorism Fears*, in: *The Political Psychology of Terrorism Fears*, (eds.) S. J. Sinclair, D. Antonius, Oxford.
- Jameson F. (2008), *The Ideologies of Theory*, London–New York.
- Kiper J., Sosis R. (2016), *Why Terrorism Terrifies Us*, in: *Evolutionary Psychology and Terrorism*, (eds.) M. Taylor, J. Roach, K. Pease, London–New York.
- Law R. D. (2009), *Terrorism. A History*, Cambridge.
- Memory and Memorials, 1789–1914. Literary and Cultural Perspectives (2000)*, (eds.) M. Campbell, J. M. Labbe, S. Shuttleworth, London–New York.
- Miller M. A. (2013), *The Foundations of Modern Terrorism. State, Society and the Dynamics of Political Violence*, Cambridge.

- Mohamed F. G. (2011), *Milton and the Post-Secular Present. Ethics, Politics, Terrorism*, Stanford, California.
- Mullins W. C., Thurman Q. C. (2011), *The Etiology of Terrorism: Identifying, Defining, and Studying Terrorists*, in: *Criminologists on Terrorism and Homeland Security*, (eds.) B. Forst, J. R. Greene, J. P. Lynch, Cambridge.
- Nance M. W. (2008), *Terrorist Recognition Handbook. Second Edition*, London–New York.
- Neal A. W. (2010), *Exceptionalism and the Politics of Counter-Terrorism. Liberty, Security and the War on Terror*, London–New York.
- Pedahzur A., Perliger A. (2009), *Jewish Terrorism in Israel*, New York.
- Poggiolini I. (2004), *Translating Memories of War and Co-belligerency into Politics: the Italian Post-War Experience*, in: *Memory and Power in Post-War Europe*, (ed.) J.-W. Müller, Cambridge.
- Rabasa A. [et al.] (2006), *Beyond al-Qaeda. Part 1. The Global Jihadist Movement*, Santa Monica.
- Rogers P. (2008), *Global Security and the War on Terror. Elite Power and the Illusion of Control*, London–New York.
- Ruiz T. F. (2011), *The Terror of History. On the Uncertainties in Western Civilization*, Princeton–Oxford.
- Ryan M. W. S. (2013), *Decoding Al-Qaeda's Strategy. The Deep Battle against America*, New York.
- Schmidt U. (2004), *Justice at Nuremberg. Leo Alexander and the Nazi Doctors' Trial*, New York.
- Silke A. (2004), *An Introduction to Terrorism Research*, in: *Research on Terrorism. Trends, Achievements & Failures*, (ed.) A. Silke, London–Portland.
- Taylor R. (2002), *The History of Terrorism*.
- The History of Terrorism from Antiquity to Al Qaeda* (2007), (eds.) G. Chaliand, A. Blin, Berkeley–Los Angeles–London.
- The Routledge Handbook of Terrorism Research* (2011), (ed.) A. P. Schmid, London–New York.
- The Routledge History of Terrorism* (2015), (ed.) R. D. Law, London–New York.
- Tilly Ch. (1994), *Afterword: Political Memories in Space and Time*, in: *Remapping Memory. The Politics of TimeSpace*, (ed.) J. Boyarin, Minneapolis–London.
- Wallerstein I. (1999), *The End of the World as We Know It. Social Science for the Twenty-First Century*, Minneapolis–London.
- Wardlaw G. (1989), *Political Terrorism. Theory, Tactics, and Counter-Measures. Second edition revised and extended*, Cambridge.
- Wexler S. (2015), *America's Secret Jihad. The Hidden History of Religious Terrorism in the United States*, Berkeley, California.
- Wilkinson P. (2011), *Terrorism versus Democracy. The Liberal State Response. Third Edition*, London–New York.

АННОТАЦИЯ

В статье анализируются основные направления интерпретации феномена терроризма в современной политической науке и политической философии. В общественном сознании терроризм как важнейший фактор современной политики воспринимается, как правило, весьма поверхностно. Многие современные интерпретации терроризма, при всей их кажущейся внешней объективности, на самом деле постоянно воспроизводят трафаретную историческую логику, основанную на чисто внешнем восприятии терроризма как подрывных акций индивидов и небольших групп, руководствующихся самими различ-

ными политическими мотивами. Данная тенденция постоянно используется средствами массовой информации, закрепляющими в политической памяти шаблонные образы террористов и тем самым ложное восприятие как истинных целей, которые они преследуют, так и тех реальных корпоративных структур, которые финансируют и направляют их деятельность. Повсеместно возникающие дилеммы в трактовках террористической активности в различных регионах мира связаны с господством в современном политическом дискурсе практик насилия, несвободы и чрезвычайных ситуаций, постоянно подпитывающих риторику «войны с террором». Эти практики сами по себе накладывают ограничения на субъективную свободу суждений, способствуя формированию структур «дисциплинарной власти», основные механизмы которой были в свое время всесторонне исследованы в политической философии М. Фуко. В статье обосновывается тезис, согласно которому вопреки устойчивым либеральным стереотипам, государственный терроризм следует рассматривать в теоретическом плане в качестве универсальной основы или «матрицы», в то время как все другие формы индивидуального и группового терроризма, независимо от их социальной, классовой или идеологической ориентации, являются производными от данной основы. В статье отмечается, что адекватные научные определения терроризма способствуют разрушению некоторых историософских концепций, которые в последние десятилетия превратились в устойчивые политические мифы.

Ключевые слова: современные политическая наука и политическая философия, терроризм, государственный терроризм, революционный терроризм

MODERN TERRORISM AS POLITICAL AND PSYCHOLOGICAL PHENOMENON: THE ACTUAL PROBLEMS OF INTERPRETATION

ABSTRACT

The article analyzes the main directions of interpretation of the phenomenon of terrorism in modern political science and political philosophy. In the public opinion terrorism as the most important factor of contemporary politics is often perceived very superficially. Many modern interpretations of terrorism, despite their apparent objectivity have consistently produced a stencil historical logic, based on purely external perception of terrorism as a subversive activity of individuals and small groups, guided by very different political motives. This trend is constantly reproduced by the media, creating conventional images of terrorists in political memory and thereby false perception of the true objectives they pursue and the real corporate structures that finance and direct their activities. Throughout the emerging dilemmas in the interpretation of terrorist activity in various regions of the world associated with the dominance of practices of violence, the lack of freedom and emergency situations in the modern political discourse. These practices constantly nourish the rhetoric of the “war on terror” imposing restrictions on the freedom of subjective judgments and contributing to the formation of “disciplinary power,” the basic mechanisms of which had been once extensively considered in M. Foucault’s political philosophy. The article proves the thesis that despite the stable liberal stereotypes, state terrorism should be viewed in theory as a universal matrix while all other forms of individual and group terrorism, regardless of their social, class or ideological orientation, are derived from this base. The paper proves the thesis according to which the adequate scientific definitions of terrorism contribute to the destruction of some historiographical concepts, which in recent decades have transformed into a stable political myths.

Keywords: terrorism, political science, political philosophy

WSPÓLCZESNY TERRORYZM JAKO FENOMEN POLITYCZNY I PSYCHOLOGICZNY. AKTUALNE PROBLEMY INTERPRETACJI

STRESZCZENIE

W artykule poddano analizie podstawowe kierunki interpretacji zjawiska terroryzmu we współczesnej nauce o polityce oraz filozofii politycznej. W świadomości społecznej terroryzm jako jeden z najważniejszych czynników współczesnej polityki traktuje się, na ogół, bardzo powierzchownie. Wiele współczesnych interpretacji terroryzmu, przy całym ich pozornym zewnętrznym obiektywizmie, w rzeczywistości stale odtwarza szablonową logikę historyczną, opartą na czysto zewnętrznym pojmowaniu terroryzmu jako akcji wywrotowych jednostek i niewielkich grup, kierujących się przeróżnymi motywami politycznymi. Dana tendencja stale posługuje się środkami masowej informacji, utrwalającymi w pamięci politycznej szablonowe obrazy terrorystów i tym samym fałszywe pojmowanie zarówno rzeczywistych celów, które starają się oni osiągać, jak i realnych struktur korporacyjnych, które finansują i ukierunkowują ich działalność. Powszechnie występujące dylematy w zakresie interpretacji aktywności terrorystycznej w wielu regionach świata wiążą się z panowaniem we współczesnym dyskursie politycznym praktyk przemocy, braku swobody i sytuacji nadzwyczajnych, stale zasilających retorykę „wojny z terrorem”. Praktyki te same z siebie nakładają ograniczenia na subiektywną swobodę opinii, sprzyjając formowaniu struktur „władzy dyscyplinującej”, której podstawowe mechanizmy były swego czasu wszechstronnie przebadane w filozofii politycznej M. Foucaulta. W artykule sformułowano tezę, zgodnie z którą, wbrew stabilnym stereotypom liberalnym, terroryzm państwowy należy rozpatrywać w planie teoretycznym w charakterze uniwersalnej zasady lub „matrycy”, podczas gdy inne formy terroryzmu indywidualnego i grupowego, niezależnie od ich orientacji socjalnej, klasowej lub ideologicznej, jawią się jako wywodzące się z tejsze podstawy. W artykule zauważa się, że adekwatne naukowe określenia terroryzmu sprzyjają zburzeniu niektórych koncepcji historiozoficznych, które w ciągu ostatnich dziesięcioleci przekształciły się w stabilne mity polityczne.

Słowa kluczowe: terroryzm, nauka o polityce, filozofia polityki

